

К.М.Станюкович

МОРСКИЕ РАССКАЗЫ



К.М.Станюкович. «Морские рассказы» //Издательство «Художественная литература», Москва, 1986
FB2: "Ustas ", 2006-06-30, version 1.0
UUID: A9E03B88-1FD9-4AE8-8991-96B2E6FEC903
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Михайлович Станюкович

Васька

(«Морские рассказы»)

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0017
III.....	.0027
IV.....	.0036
V.....	.0042
VI.....	.0048

**Константин Михайлович
Станюкович
Васька
(Рассказ из былой морской
жизни)**

В числе разной живности — трех быков, нескольких баранов, гусей, уток и кур, — привезенной одним жарким ноябрьским днем с берега на русский военный клипер «Казак» накануне его ухода с острова Мадейра для продолжения плавания на Дальний Восток, находилась и одна внушительная, жирная, хорошо откормленная фунчальская свинья с четырьмя поросятами, маленькими, но перешагнувшими, однако, уже возраст свиного младенчества, — когда так вкусны они под хреном или жареные с кашей.

Всем этим «пассажирам», как немедленно прозвали матросы прибывших гостей, был оказан любезный и радушный прием, и их тотчас же разместили по обе стороны бака [1], при самом веселом содействии матросов.

Трех быков, только что поднятых с качавшегося на зыби баркаса на веревках, пропущенных под брюхами, не пришедших еще в себя от воздушного путешествия и громко выражавших свое неудовольствие на морские порядки, привязали у бортов на крепких кон-

цах; птицу рассадили по клеткам, а баранов и свинью с семейством поместили в устроенные плотником загородки, весьма просторные и даже комфортабельные. Корма для всех — сена, травы и зерна — было припасено достаточно, — одним словом, моряками были приняты все возможные меры для удобства «пассажиров», которых собирались съесть в непродолжительном времени на длинном переходе, предположенном капитаном. Он хотел идти с Мадейры прямо в Батавию на острове Ява, не заходя, если на клипере все будет благополучно, ни в Рио-Жанейро, ни на мыс Доброй Надежды. Переход предстоял долгий, не менее пятидесяти дней, и потому было взято столько «пассажиров». Быки назначались для матросов, чтобы дать им хоть несколько раз вместо солонины и мясных консервов, из которых варилась горячая пицца, свежего мяса. Остальная живность была запасена для капитанского и кают-компанейского стола, чтобы не весь переход сидеть на консервах. Вдобавок предстояло встретить в океане рождество, и содержатель кают-компании мичман Петровский имел в виду полакомить товари-

щей и гусем, и окороком, и поросятами — словом, встретить праздник честь честью.

Нечего и говорить, что для сохранения палубы в той умопомрачительной чистоте, какою щеголяют военные суда, не жалели ни подстилок, ни соломы, и старший офицер, немолодой уже лейтенант, влюбленный до помешательства в чистоту и порядок и сокрушавшийся тем, что палуба приняла несоответствующий ей вид деревенского пейзажа, строго-настрого приказывал боцману Якубенкову, чтобы он глядел в оба за благопристойностью скотины и за чистотой их помещений.

— Есть, ваше благородие! — поспешил ответить боцман, который и сам, как невольный ревнитель чистоты и порядка на клипере, не особенно благосклонно относился к «пассажирам», способным изгадить палубу и тем навлечь неудовольствие старшего офицера.

— А не то... смотри у меня, Якубенков! — вдруг воскликнул старший офицер, возвышая голос и напуская на себя свирепый вид.

Окрик этот был так выразителен, что боц-

ман почтительно выкатил свои глаза, точно хотел показать, что отлично смотрит, и вытянулся в ожидании, что будет дальше.

И действительно, после короткой паузы старший офицер, словно бы для вящей убедительности боцмана, резко, отрывисто и внушительно спросил:

— Понял?

Еще бы не понять!

Он отлично понял, этот пожилой, приземистый и широкоплечий боцман, с крепко посаженной большой головой, покрытой щетиной черных заседевших волос, видневшихся из-за сбитой на затылок фуражки без козырька. Давно уже служивший во флоте и видавший всяких начальников, он хорошо знал старшего офицера и по достоинству ценил силу его гневных вспышек.

И боцман невольно повел своим умным черным глазом на красноватую, большую правую руку лейтенанта, мирно покоящуюся на штанине, и громко, весело и убежденно ответил, слегка выпячивая для большего почтения грудь:

— Понял, ваше благородие!

— Главное, братец, чтобы эти мерзавцы не изгадили нам палубы, — продолжал уже совсем смягченным и как бы конфиденциальным тоном старший офицер, видимо, вполне довольный, что его любимец, дока боцман, отлично его понимает. — Особенно эта свинья с поросятами...

— Самые, можно сказать, неряшливые пассажиры, ваше благородие! — заметил и боцман уже менее официально.

— Не пускать их из хлева. Да у быков подстилки чаще менять.

— Слушаю, ваше благородие!

— И вообще, чтобы и у птиц и у скотины было чисто... Ты кого к ним назначил?

— Артюшкина и Коноплева. Одного к птице, другого к животной, ваше благородие!

— Таких баб-матросов? — удивленно спросил старший офицер.

— Осмелюсь доложить, ваше благородие, что они негодящие только по флотской части...

— Я и говорю: бабы! Зачем же ты таких назначил? — нетерпеливо перебил лейтенант.

— По той причине, что они привержены к

сухопутной работе, ваше благородие!

— Какая ж на судне такая сухопутная работа, по-твоему?

— А самая эта и есть, за животной ходить, ваше благородие! Особенно Коноплев любит всякую животную и будет около нее исправен. Пастухом был и совсем вроде как мужичком остался... Не понимает морской части! — прибавил боцман не без некоторого снисходительного презрения к такому «мужику».

Сам Якубенков после двадцатилетней морской службы и многих плаваний давно и основательно позабыл деревню.

— Ну, ты за них мне ответишь, если что, — решительно произнес старший офицер, отпуская боцмана.

Тот, в свою очередь, позвал на бак Артюшкина и Коноплева и сказал:

— Смотри, чтобы и птицу и животную содержать чисто, во всем параде. Палуба, чтобы ни боже ни... Малейшая ежели пакость на палубе... — внушительно прибавил боцман.

— Будем стараться, Федос Иваныч! — испуганно промолвил Артюшкин, молодой, полнотелый, чернявый матрос с растерянным

выражением на глуповатом лице, в страхе жмуря глаза, точно перед его зубами уже был внушительный жилистый кулак боцмана.

Коноплев ничего не сказал и только улыбнулся своею широкою добродушною улыбкой, словно бы выражая ею некоторую уверенность в сохранении своих зубов.

Это был неуклюжий, небольшого роста, белобрысый человек лет за тридцать, с большими серыми глазами, рыжеватыми баками и усами, рябоватый и вообще неказистый, совсем не имевший того бравого вида, каким отличаются матросы. Несмотря на то, что Коноплев служил во флоте около восьми лет, он все еще в значительной мере сохранил мужицкую складку и глядел совсем мужиком, только по какому-то недоразумению одетым в форменную матросскую рубаху. Весь он был какой-то нескладный, и все на нем сидело мешковато. Матросской выправки никакой.

И он недаром считался плохим матросом, так называемой бабой, хотя и был старательным и усердным, исполняя обязанности простой рабочей силы. Он добросовестно вместе с другими тянул снасть, ворочал пушки, греб

на баркасе, наваливаясь изо всех сил на весло; но на более ответственную и опасную матросскую работу, требующую ловкости, быстроты и отваги, его не назначали.

И он был несказанно рад этому.

Выросший в глухой деревне и любивший кормилицу-землю, как только могут любить мужики, никогда не выдавшие не только моря, но даже и озера, он двадцати трех лет от роду был оторван от сохи и сдан, по малому своему росту, в матросы.

И море, и эти диковинные корабли с высокими мачтами с первого же раза поразили и испугали его. Он никак не мог привыкнуть к чуждому ему морю, полному какой-то жуткой таинственности и опасности. Морская служба казалась ему божиим наказанием. Один вид марсовых, бегущих, как кошки, по вантам, крепящих паруса или берущих рифы в свежую погоду, стоя у рей [2], стремительно качающихся над волнистою водяною бездной, вчуже вселял в этом сухопутном человеке чувство невольного страха и трепета, которого побороть он не мог. Он знал, что малейшая неловкость или неосторожность, и человек

сорвется с реи и размозжит себе голову о палубу или упадет в море. Видывал он такие случаи во время своей службы и только ахал, весь потрясенный. Никогда не полез бы он добровольно на мачту — бог с ней! — и по счастью, его никогда и не посылали туда.

Так Коноплев и не мог привыкнуть к морю. Оно по-прежнему возбуждало в нем страх. Назначенный в кругосветное плавание, он покорился, конечно, судьбе, но нередко скучал, уныло посматривая на седые высокие волны, среди которых, словно между гор, шел, раскачиваясь, небольшой клипер. Вдобавок Коноплев не переносил сильной качки, и, когда во время бурь и непогод клипер «валяло», как щепку, с бока на бок, Коноплев вместе со страхом испытывал приступы морской болезни.

И в такие дни он особенно тосковал по земле, любовно вспоминая свою глухую, заброшенную в лесу деревушку, которая была для него милее всего на свете.

Несмотря на то, что Коноплев был плохой матрос и далеко не отличался смелостью, он

пользовался общим расположением за свой необыкновенно добродушный и уживчивый нрав. Даже сам боцман Якубенков относился к Коноплеву снисходительно и только в редких случаях «запаливал» ему, словно бы понимая, что не сделать из этого прирожденно-го мужика форменного матроса.

— А ты что, Коноплев, рожу только скалишь? Ай не слышишь, что я приказываю? — спрашивал боцман.

— То-то слышу, Федос Иванович.

— Хочешь, что ли, чтобы зубы у тебя были целы?

— Не сумлевайтесь, будут целы, Федос Иванович!

— Смотри не ошибись.

— Я это дело справлю как следует. Самое это простое дело. Слава богу, за скотинкой хаживал! — любовно и весь оживляясь, говорил Коноплев.

И радостная, широкая улыбка снова растянула его рот до широких вислоухих ушей при мысли о работе, которая хотя отчасти напомнит ему здесь, среди далекого постылого океана, его любимое деревенское дело.

— То-то и я тобой обнадежен. Я так и обска-
зывал старшему офицеру, что ты по мужиц-
кой части не сдрейфуешь. Смотри не окон-
фузь меня... Да помните вы оба: ежели да
старший офицер заметит у скотины или у
птицы какую-нибудь неисправку или повре-
ждение палубы, велит вам обоим всыпать.
Знай это, ребята! — закончил боцман добро-
душно деловым тоном, словно бы передавал
самое обыкновенное известие.

— Я буду стараться около птицы... Изо
всей, значит, силы буду стараться, Федос Ива-
ныч! — снова пролепетал растерянным и
упавшим голосом Артюшкин, совсем перепуган-
ный последними словами боцмана.

И в голове молодого матросика — даром
что она была не особенно толкова — пробе-
жала мысль о том, что лучше бы иметь дело
только с боцманом.

Коноплев снова промолчал.

Судя по его спокойному лицу, мысль о
«всыпке», по-видимому, не беспокоила его.
Он был полон уверенности в своих силах и к
тому же понимал старшего офицера как чело-
века, который не станет наказывать зря и ес-

ли, случается, всыпает, то «с рассудком».

Коноплев принялся за порученное ему дело с таким увлечением, какого никогда не проявлял в корабельных работах. Те он исполнял хотя и старательно, но совершенно безучастно, с покорностью подневольного человека и с автоматичностью машины. А в эту он вкладывал душу, и потому эта работа казалась ему и приятна и легка.

И сам он переменился. Обыкновенно скупавший и несколько вялый, он стал вдруг необыкновенно деятелен, весело озабочен около своих «пассажиров» и, казалось, забыл на время и постылость морской службы, и страх перед нелюбимым им океаном. Одним словом, этот неудавшийся матрос ожил, как оживает человек, внезапно нашедший смысл жизни.

С первого же дня, как на «Казаке» были водворены все «пассажиры», Коноплев возбудил общее удивление своим умением обращаться с животными, товарищески любовным к ним отношением и какою-то особенною способностью понимать их и даже разго-

варивать с ними, точно в нем самом было что-то родственное и близкое животным, которых он пестовал с любовью и лаской. И они, казалось, понимали его, не боялись, слушались и словно бы считали немного своим.

Но особенное изумление матросов вызвано было при первом знакомстве Коноплева с одним беспокойным и сердитым быком.

Это был самый буйный из всех трех, привезенных на клипер. Небольшой, но сильный, черный и косматый, он отчаянно и сердито мычал, когда его, связанного по ногам, поднимали с баркаса на палубу. Не успокоился он и тогда, когда его привязали толстой веревкой к бортовому кольцу и освободили от пут. Он чуть было не боднул возившихся около него и успевших отскочить матросов и продолжал злобно мычать на новоселье. При этом он рвался с веревки, нетерпеливо бил копытами по деревянной настилке и грозно, с налитыми кровью глазами помавал своею рогатую головой.

Он наводил страх. Никто не осмеливался к нему подойти, боясь быть вскинутым на его изогнутые острые рога.

Занятые интересным и редким на судне зрелищем, матросы толпились в почтительном отдалении от сердитого быка и перекидывались на его счет остротами и шутками.

— И сердитый же у нас, братцы, пассажир. Около его теперь и не пройти. Забодает!

— Ходу ему не дадут. Первого зарежут! Не бунтуй на военном судне.

— Видно, в первый раз в море идет, оттого и бунтует.

— Чует, поди, что к нам в щи попадет, сердится.

— В море усмирится.

— Небось его сам боцман не усмирит, потому линьком его не выучишь. Не матрос!

Это замечание вызывает в толпе смех. Не без удовольствия улыбается и боцман, довольный столь лестным о нем мнением.

— И как только Коноплев будет ходить за этим чертом! Страшное это, братцы, дело связаться с таким пассажиром... Будет Коноплеву с им хлопот! — участливо заметил кто-то.

И многие пожалели Коноплева. Как бы ему не досталось от сердитого быка!

— Небось не достанется, братцы... Я умираю

его! — проговорил вдруг своим спокойным и приветным голосом Коноплев, пробираясь через толпу с другой стороны бака.

Там он только что навел на других двух быков, привязанных отдельно от беспокойного. Они тоже мычали, видимо, еще не освоившись с новым положением, но в их мычании слышались покорные, грустные звуки, похожие на жалобу.

Коноплев гладил их морды, чесал им спины, что-то говорил им тихим, ласковым голосом, указал на корм и скоро их успокоил.

— Он, братцы, сердится, что его с родной стороны взяли, — продолжал Коноплев, проталкиваясь вперед, — тоску свою, значит, по своему месту сердцем оказывает. А бояться его нечего, быка-то. Он — добрая животная, и если ты с им лаской, не забидит...

С этими словами он ровною, спокойною походкой, слегка переваливаясь и не ускоряя шага, направился к бунтующему быку.

Матросы так и ахнули. Все думали, что Коноплеву будет беда. Никто не ожидал, что такой трусливый по флотской части матрос решится идти к бешеному зверю.

Боцман Якубенков испуганно крикнул:

— Назад! На рога, что ли, хочешь, дурья твоя башка!

Но Коноплев уже вступил на широкую деревянную настилку, на которой головой к нему стоял зверь, готовый, по-видимому, принять на рога непрошеного гостя.

Глядя прямо быку в глаза, Коноплев подошел к нему и фамильярно стал трепать его по морде и тихо и ласково говорил, точно перед ним был человек:

— А ты, голубчик, не бунтуй. Не бунтуй, братец ты мой. Нехорошо... Всякому своя доля... Ничего не поделаешь... Всё, братец ты мой, от господ бога... И человеку, и зверю...

Видимо озадаченный, бык мгновенно притих, точно загипнотизированный. Склонив голову, он позволил себя ласкать, словно бы в этой ласке и в этом доброжелательном голосе вспоминал что-то обычное, знакомое.

И Коноплев, продолжая говорить все те же слова, чесал быка за ухом, под горлом, и бык не противился и только мордой обнюхивал Коноплева, как будто решил ближе с ним познакомиться.

Тогда Коноплев захватил пук свежей травы, лежавшей в углу, вблизи сена, на настилке, и поднес ее быку.

Сперва бык нерешительно покосился на траву, жадно раздувая ноздри. Но затем осторожно взял ее, касаясь шершавым языком руки Коноплева, и медленно стал жевать, подсапывая носом.

— Небось скусная родимая травка! Ешь на здоровье. Тут и еще она есть... и сенца есть... Кантуй на здоровье. Ужо напою тебя, а завтра свежего корма принесу... А пока что прощай... Так-то оно лучше, ежели не бунтовать... Ничего не поделаешь!

И, потрепав на прощание начинающего успокоиваться быка, Коноплев отошел от него и, обратившись к изумленной толпе матросов, проговорил:

— А вы, братцы, не мешайте ему, не стойте у его на глазах... дайте ему вовсе в понятие войти... Тоже зверь, а небось понимает, ежели над им смеются...

И матросы послушно разошлись, вполне доверяя словам Коноплева.

А он пошел от быка к другим «пассажи-

рам». Побывал у сбившихся в кучу баранов, заглянул в загородку на свинью с поросятами, перетрогал и осмотрел их всех, несмотря на сердитое хрюканье матери, и почему-то особенно ласково погладил одного из них. К вечеру он снова обошел всю свою команду и всем поставил воды, пожелав спокойной ночи.

В эту ночь он и сам лег спать веселый и довольный, что у него есть дело, напоминающее деревню.

Еще только что начинало рассветать; на востоке занималась розовато-золотистая заря и звезды еще слабо мигали на небе, как Коноплев уже встал и, пробираясь между спящими матросами, вышел наверх и принялся убирать стойла и загородки. Проснувшиеся «пассажиры» встречали его как знакомого человека и протягивали к его руке морды. Он трепал их и говорил, что сейчас принесет свежего корма, только вот управится.

И, тщательно вычистив все «пассажирские» помещения, стал носить сено и траву, заготовленное еще накануне для свиней мессиво и свежую воду. И у всех он стоял, посмат-

ривая, как они принимаются за еду, и наблюдая, чтобы все ели.

— А ты не забижай других! — говорил он среди баранов, заметив, что одного молодого барашка не подпускают к траве другие. — Всем хватит. Малыша не тесни.

И отгонял других, чтобы дать корму обиженному.

Когда ранним утром подняли команду и началась обычная утренняя чистка клипера, а старший офицер уже носился по всему судну, заглядывая во все уголки, у Коноплева все было готово и в порядке. Он был при своих «пассажирах» и энергично заступался за них, когда матросы, окачивающие палубу, направляли на них брандспойт, чтобы потешиться. Заступался и сердился, объясняя, что «животная» этого не любит, и даже обругал одного молодого матроса, который пустил-таки струю в баранов, которые заметались в ужасе.

Убедившись, что палуба не загажена и что и у скотины и у птицы все чисто и в порядке, старший офицер, по-видимому, снисходительнее посмотрел на присутствие многочисленных «пассажиров» (к тому же он любил и

покушать) и без раздражения слушал бляение, хрюканье, гоготанье гусей и уток и пение петухов.

Остановившись с разбега на баке, где боцман Якубенков с раннего утра оглашал воздух ругательными импровизациями, «подбадривая» этим, как он говорил, матросов для того, чтобы они веселее работали, старший офицер взглянул на черного быка, смиренно жевавшего сено, взглянул на настилку, блестящую чистотой, и проговорил, обращаясь к Коноплеву:

— Чтобы всегда так было.

— Есть, ваше благородие!

— Старайся.

— Слушаю-с, ваше благородие!

— Ты, говорят, вчера этого бешеного быка усмирил? Не побоялся?

— Он и так был смирный... Тосковал только, ваше благородие! — застенчиво, вяло и боязливо отвечал Коноплев, как-то неловко прикладывая пятерню пальцев к своему лобастому, вислоухому лицу.

Старший офицер, сам бравый моряк и любивший в матросах молодецкую выправку,

пренебрежительно повел глазом на переминавшуюся с ноги на ногу неуклюжую, мешковатую, совсем не ладную фигуру Коноплева и, словно бы удивляясь, что этот «баба-матрос» вчера не побоялся свирепого быка, возбуждавшего беспокойство и в нем, старшем офицере, пожал плечами и понесся далее.

После подъема флага «Казак» снялся с якоря и под всеми парусами полетел от Мадейры в открытый океан, направляясь к югу, к благодатному пассату.

Чем привлек к себе Коноплева этот белый короткошерстый, с черными подпалинами, боровок, с маленькими, конечно, глазками, но бойкими и смышленными и с тупою розовою мордочкой, — объяснить было бы трудно и почти невозможно, если только не принять во внимание того, что симпатии как к людям, так и к животным зарождаются иногда внезапно.

Впрочем, возможно было допустить и более тонкое объяснение, которое и подтвердилось впоследствии, а именно, что Коноплев, как бывший в юности свинопас и тонкий знаток свиной породы, с первого же взгляда, подобно редким педагогам, провидел в белом боровке редкие способности и талантливость, невидимые для простых смертных, и потому почтил его особым вниманием.

А между тем, по-видимому, он ничем не отличался от остальных своих трех черных братцев, кроме белого цвета шерсти да разве еще тем едва ли похвальным качеством, что в момент водворения на клипере визжал

громче, пронзительнее и невыносимее остальных, возбуждая и без того возбужденную мать. Она и так была взволнована, эта толстая и видная черная свинья, и недоумевающе, с недовольным похрюкиванием, прислушивалась и к дьявольскому реву черного быка, и к бляению баранов, и к гоготанью гусей, и к свисткам и окрикам боцмана — словом, ко всему этому аду кромешному и ничего не видя из-за своей загородки, решительно не понимала, что такое кругом творится и как это она, еще недавно спокойно и беззаботно гулявшая среди полной тишины грязного двора, в тени широколистных деревьев, очутилась вдруг здесь, в совершенно незнакомом и не особенно просторном месте и где, вдобавок, нет ни грязи, в которой можно поваляться, ни сорной ямы, в которой такие вкусные апельсиновые корки.

А тут еще этот болван визжит, словно полоумный, усложняя только и без того скверное положение и раздражая материнские нервы.

Хотя эта хавронья и была вообще недурная мать, но, несмотря на иностранное свое про-

исхождение, не имела или, быть может, не разделяла разумных педагогических взглядов на дело воспитания и потому, без всякого предупредительного хрюкания, довольно чувствительно-таки куснула неугомонного сына за ляжку, словно бы желая этим сказать: «Замолчи, дурак! И без тебя тошно!»

Награжденный кличкою «дурака», как нередко и свиньи награждают умных детей, боровак, казалось, понял, чего от него требует раздраженная маменька.

Хотя он и взвизгнул так отчаянно, что проходивший мимо старший офицер поморщился, словно от сильнейшей зубной боли, и бросился от матери в дальний угол, но затем визжал уже тише, с передышками, больше от досады, чем от боли, и скоро совсем перестал, увлеченный братьями в какую-то игру.

Все это, казалось бы, еще не давало ему особых прав на предпочтительное внимание, особенно со стороны такого нелюдимого человека, как Коноплев, тем не менее при первом же знакомстве Коноплев отнесся к этому белому бороваку несколько иначе, чем к другим.

Подняв его за шиворот и осмотрев его мордочку, он ласково потрепал его по спине и назвал «башковатым», хотя «башковатый» в ответ на ласку и визжал, словно совсем глупый поросенок, вообразивший, что его сейчас зарежут.

— Не ори, беленький. Еще до рождества тебе отсрочка! — произнес, ставя боровка на соломенную подстилку, Коноплев.

В успокоительном тоне его голоса звучала, однако, и нотка сожаления к ожидающей боровка судьбе: быть зажаренным и съеденным господами офицерами.

В этом не могло быть ни малейшего сомнения.

— А смышленный, должно быть, боровок! — словно бы для себя проговорил, уходя, Коноплев.

И в ту же минуту в голове его промелькнула какая-то мысль, заставившая его улыбнуться и проговорить вслух:

— А важная вышла бы штука... То-то ребята бы посмеялись!..

Мысль эта, по-видимому, недолго занимала Коноплева, потому что он тотчас же беззна-

дежно махнул рукой и произнес:

— Съедят... Им только бы брюхо тешить!

Как бы то ни было, какие бы мысли ни пробегали в голове Коноплева насчет будущей судьбы боровка и насчет людей, способных только тешить брюхо, но дело только в том, что не прошло и недели, как белый боровок был удостоен кличкою «Васьки», сделался фаворитом Коноплева и при приближении своего пестуна поднимал вверх мордочку и пробовал, хотя и не всегда удачно, стать на задние лапы, ожидая подачи. Но Коноплев был справедлив и не особенно отличал своего любимца, не желая обижать остальных, хотя те и не обнаруживали той смышленности, какую показывал Васька. Давал он им пищу всем одинаковую и обильную, обнаруживая свое тайное предпочтение Ваське только тем, что чаще ласкал его, иногда выводил из загородки и позволял побегать по палубе и поглазеть на окружающее, хотя Васька и замечал только то, что у него было под носом.

Все эти преимущества не могли, конечно, обидеть других поросят, раз их не обделяли кормом, а, напротив, по приказанию содержа-

теля кают-компании, румяного и жизнерадостного мичмана Петровского, с коварной целью кормили до отвала. Ешь сколько хочешь!

И они все вместе с маменькой полнели не по дням, а по часам и решительно не думали о чем-нибудь другом, кроме еды, и на Коноплева смотрели только как на человека, приносившего им вдоволь и месива, и остатков от кают-компанейского стола, и апельсиновых корок.

А Васька, казалось, питал и некоторые другие чувства к Коноплеву и имел более возвышенные понятия о цели своего существования. С достойным для боровка упорством старался он стать на задние лапы, при появлении Коноплева откликался на свою кличку и радостно ложился на спину, когда Коноплев растопыривал свои пальцы, чтобы почесать брюшко своего фаворита, — словом, показывал видимое расположение к Коноплеву и как бы свидетельствовал, что может быть годным не для одного только рождественского лакомства офицеров, а кое для чего менее преходящего и полезного как для себя, так и

для других.

Заметил это и Коноплев и, снова занятый прежней мыслью, стал часто выводить его из загородки, заставлял бегать, отрывая нередко от вкусных яств, и однажды даже сам заставил его стать на задние лапы, причем на морду положил кусочек сахара. Опыт если и не вполне удался, но показал, что Васька не лишен сообразительности и при поддержке может стоять на задних лапах и держать на носу сахар...

Это обстоятельство привело Коноплева в восторг и доставило Ваське немало ласковых эпитетов и немало ласковых трепков и в то же время вызвало в Коноплеве какое-то твердое решение и вместе с тем смутную, радостную надежду.

С следующего же дня Коноплев перестал спать после обеда, и как только боцман Якубенков вскрикивал после свистка в дудку: «Отдыхать!» — Коноплев шел за Васькой и уносил его вниз, на кубрик, подальше от людских глаз. Там в укромном местечке пустого матросского помещения (матросы все спали наверху) он проводил положенный для отды-

ха час глаз на глаз со своим любимцем, окружая занятия с ним какою-то таинственностью.

После этих занятий Васька обыкновенно получал кусок сахара, до которого был большой охотник, и, напутствуемый похвалами своей «башковатости», иногда несколько утомленный, но все-таки веселый, водворялся в загородке, в которой, как колода, валялась разжиревшая мать и с трудом передвигали ноги закормленные поросята.

Кроме того, по ранним утрам, когда старший офицер еще спал, и по вечерам Коноплев выводил Ваську на палубу и заставлял его бегать, гоняясь за ним или пугая его линьком. Эти прогулки не особенно нравились Ваське и, видимо, утомляли, но зато Коноплев был доволен, видя, что Васька совсем не зажирел и перед своими братьями казался совсем тощим боровком.

И когда однажды мичман, заведующий кают-компанейским столом, заглянув в загородку, спросил Коноплева:

— Что это значит? Все поросята как следует откормлены, а этот белый совсем тощий?

То Коноплев с самым серьезным видом ответил:

— Совсем нестоящий боровок, ваше благородие!

— Почему нестоящий?

— В тело не входит, ваше благородие. Во все без жира... И для пицци не должно быть скусной...

— Что ж он, не ест, что ли?

— Плохо пиццу принимает, ваше благородие.

— Отчего?

— Верно, к морю не способен, ваше благородие...

— Странно... Отчего же другие все жиреют?.. Ты смотри, Коноплев, подкорми его к празднику.

— Слушаю, ваше благородие. Но только, осмелюсь доложить, вряд ли его подкормить как следовает к празднику... Разве попозже в тело войдет, ваше благородие!

IV

Между тем время шло.

Северные и южные тропики были пройдены, и клипер уже шел по Индийскому океану, поднимаясь к экватору.

Миновали красные деньки спокойного благодатного плавания в вековечных, ровно дующих пассатах, при чудной погоде, при ослепительном солнце, бирюзовом высоком небе, в этом отливающем синевой, тихо переливающимся ласковым океане, слегка покачивающем клипер на своей мощной груди.

Снова наступила для моряков жизнь, полная неустанной работы, тревог и опасностей. Приходилось постоянно быть начеку, с напряженными нервами. Индийский океан, известный своими бурями и ураганами, принял моряков далеко не ласково с первого же дня вступления «Казака» в его владения и чем дальше, тем становился угрюмее и грознее: «валял» клипер с бока на бок, поддавал в корму и опускал нос среди своих громадных валов с седыми пенящимися верхушками. И маленький «Казак», искусно управляемый моря-

ками, ловко избегал этих валов, то поднимаясь на них, то опускаясь, то проскальзывая между ними, и шел себе вперед да вперед среди пустынного сердитого океана, под небом, покрытым мрачными, клочковатыми облаками, из-за которых иногда вырывалось солнце, заливая блеском серебристые холмы волн.

И ничего кругом, кроме волн и неба.

Почти все это время «Казак» не выходил из рифов [3] и частенько-таки выдерживал штормы под штормовыми парусами [4]. Жесточайшая качка не прекращалась, и на бак часто попадали верхушки волн. Нередко в кают-компании приходилось на обеденный стол накладывать деревянную раму с гнездами, чтобы в сильной качке не каталась посуда. Бутылки и графины, завернутые в салфетки, клали плашмя. Вестовые, подавая кушанье, выписывали мыслете, и съесть тарелку супа надо было с большой ловкостью, ни на секунду не забывая законов равновесия. Выдавались и такие штормовые деньки, в которые решительно невозможно было готовить в камбузе (судовой кухне), и матросам и офицерам приходилось довольствоваться сухо-

едением и с большим нетерпением ожидать конца этого длинного перехода. Уже месяц прошел... Оставалось, при благоприятных условиях, еще столько же.

Большая часть «пассажиров» была уже съедена. Их оставалось немного, и тех спешили уничтожить, так как многие из них не переносили сильной качки и могли издохнуть.

Коноплеву уже не было прежних забот и не на чем было проявить свою деятельность. Не без грустного чувства расставался он с каждым «пассажиром», который назначался на убой, и никогда не присутствовал при таком зрелище. «Пассажиры» редели, и Коноплев, казалось, еще с большею заботливостью и любовью ходил за оставшимися.

Многие только дивились такой заботливости о животных, которых все равно зарежут.

— Чего ты так стараешься о «пассажирах», Коноплев? — спрашивал однажды Артюшкин, в ведомстве которого оставалось всего лишь шесть гусей.

Остальная птица давно была съедена.

— Как же не стараться о животной! Она тоже божья тварь.

— Да ведь много ли ей веку? Сегодня ты примерно ее напоил, накормил, слово ласковое сказал, а завтра ей крышка. Ножом Андреев полоснет.

— Ничего ты себе паренек, Артюшкин, а башкой, братец ты мой, слаб... вот что я тебе скажу... И всякому из нас крышка будет... Кому раньше, кому позже, так разве из-за самого эстого тебя и не корми, и не пои, и дуй тебя по морде, скажем, каждый день?.. Мол, все равно помрет... Еще больше жалеть нужно животную, кою завтра заколют. Пусть хоть день, да хорошо проживет... И вовсе ты глупый человек, Артюшкин... Поди лучше да гусям воды принеси. Ишь шеи вытягивают и гогочут — пить, значит, просят. И ты должен это понимать и стараться...

— Это они зря кричат...

— Зря? Ты вот, глупый, зря мелешь, а птица умней тебя... Неси им воды, Артюшкин.

Наконец палуба «Казака» почти совсем очистилась от «пассажиров». Оставались только: черный бык, с которым Коноплев давно уже вел дружбу и которого называл почему-то «Тимофеичем», свинья с семейством и

шесть гусей. Этих «пассажиров» приберегали к празднику, тем более что все они отлично переносили качку, а пока морякам приходилось довольствоваться солониной и консервами.

Чем ближе подходил праздник, тем озабоченнее и серьезнее становился Коноплев и чаще обглядывал со всех сторон Ваську. Хотя он благодаря особенным заботам своего покровителя и не жирел и был относительно не особенно соблазнительным для убоя, хоть и довольно видным и бойким боровком, а все-таки... неизвестно, какое выйдет ему решение и не пропадут ли втуне все заботы и таинственные уроки?

Такие мысли нередко приходили в последнее время Коноплеву и волновали его.

Тем не менее он по-прежнему занимался со своим любимцем в послеобеденный час в укромном уголке кубрика, заботился об его мочоне и с какою-то особенною нежностью чесал Васькины спину и брюхо и называл ласковыми именами.

И белый боровок, значительно развившийся от общения с таким умным и добрым

педагогом, казалось, понимал и ценил заботы и ласку своего наставника и в ответ на ласку благодарно лизал шершавую руку матроса, как бы доказывая, что и свиная порода способна на проявление нежных чувств.

Настал сочельник.

Моряки уже плыли на «Казак» пятьдесят пятый день, не видевши берегов, и приближались к экватору. Еще дней пять-шесть и... Батавия, давно желанный берег.

Океан не беснуется и милостиво катит свои волны, не пугая высотой и сединой вершушек. Ветер легкий, «брамсельный», как говорят моряки, и позволяет нести «Казаку» всю его парусину, и он идет себе узлов по шести-семи в час. Бирюзовая высь неба подернута белоснежными облачками, и ослепительно жгучее солнце жарит во всю мочь.

И моряки довольны, что придется встретить спокойно праздник, хотя и среди океана, под южным солнцем и при адской жаре, словом, при обстановке, нисколько не напоминающей рождественские праздники на далекой родине, с трескучими морозами и занесенными снегом елями.

Приготовление к празднику началось с раннего утра. Коноплев, встревоженный и беспокойный, еще накануне простился с Ти-

мофеичем ласковыми словами, когда в последний раз ставил ему на ночь воду, — зная, что наутро его убьют.

Он даже нежно прижал свое лицо к морде животного, к которому так привык и за которым так заботливо ухаживал, и быстро отошел от него, проговорив:

— Прощай, Тимофеич... Ничего не поделаешь... Всем придет крышка!

Ранним утром Коноплев нарочно не выходил наверх, чтобы не видеть предсмертных мук быка. Он поднялся наверх уже тогда, когда команда встала и вместо Тимофеича была лишь одна кровавая лужа. Гуси тоже были заколоты. Оставались живы только четыре боровка. Мать их была зарезана еще два дня тому назад, и окорока уже коптились.

Убирая хлев и задавая корм последним «пассажирам», которых офицерский кок (повар), по усиленной просьбе Коноплева, собирался зарезать попозже, Коноплев был очень взволнован и огорчен и старался не смотреть на своего любимца и ученика, встретившего его, по обыкновению приподнявшись на задние лапы, с нежным похрюкиванием весело-

го, беззаботного боровка, не подозревающего о страшной близости смертного часа.

Судьба Васьки должна была решиться в восемь часов утра, как только встанет веселый и жизнерадостный мичман Петровский, заведующий хозяйством кают-компании. Но надежды на него были слабы.

По крайней мере, ответ кока, перед которым горячо предстательствовал за Ваську Коноплев еще вчера, обещая, между прочим, пьянице-повару угостить его на берегу в полное удовольствие ромом или аракой (чего только пожелает), был не особенно утешительный. Кок, правда, обещал не резать поросят, пока не встанет мичман, и похлопотать за боровка, но на успех не надеялся.

— Главная причина, — говорил он, — что надоели господам консервы, и опять же праздник... И мичман хочет отличиться, чтобы обед был на славу и чтобы всего было довольно... На поросят очень все льстятся... Оно точно, ежели с кашей, то очень даже приятно... И какую я ему причину дам насчет твоего Васьки? Правда, забавный боровок... Ловко ты его приучил служить, Коноплев!

— Служить?! Он, братец ты мой, не только служить... Он всякие штуки знает... Я завтра для праздника показал бы, каков Васька... Матросики ахнут! — проговорил Коноплев в защиту Васьки, невольно открывая коку тайну сюрприза, который он готовил. — А ты доложи, что боровок, мол, тощий... Им и трех хватит... слава богу...

— Доложить-то я доложу, только вряд ли...

В это утро Коноплев не раз бегал к коку, напоминая ему об его обещании доложить и суля ему не одну, а целых две бутылки рому или араки. Наконец перед самым подъемом флага кок сообщил Коноплеву, что мичман сам придет смотреть боровка и тогда решит.

После подъема флага мичман прошел на бак и, нагнувшись к загородке, где находились боровки, внимательно оглядывал Ваську, решая вопрос: резать его или не резать.

Коноплев замер в ожидании.

Наконец мичман поднял голову и сказал Коноплеву:

— Хоть он и не такой жирный, как другие, а все-таки ничего себе. Зарезать его!

На лице матроса при этих словах появи-

лось такое выражение грусти, что мичман обратил внимание и, смеясь, спросил:

— Ты что это, Коноплев! Жалко тебе, что ли, поросенка?

— Точно так, жалко, ваше благородие! — с подкупающей простотой отвечал Коноплев.

— Почему же жалко? — удивленно задал вопрос офицер.

— Привык к нему, ваше благородие, и он вовсе особенный боровок... Ученый, ваше благородие.

— Как ученый?

— А вот извольте посмотреть, ваше благородие!

С этими словами Коноплев достал Ваську из загородки и сказал:

— Васька! Проси его благородие, чтоб тебя не резали... Служи хорошенько...

И боровок, став на задние лапы, жалобно захрюкал.

Мичман улыбался. Стоявшие вблизи матросы смеялись.

— Васька! Засни!

И боровок тотчас же послушно лег и закрыл глаза.

— Это ты так его обучил?

— Точно так, ваше благородие... Думал, ребят займу на праздник... Он, ваше благородие, многому обучен. Смышленный боровок... Васька! Встань и покажи, как матрос пьян на берегу бывает...

И Васька уморительно стал покачиваться со стороны на сторону.

Впечатление произведено было сильное. И мичман, понявший, какое развлечение доставит скучающим матросам этот забавный боровок, великодушно проговорил:

— Пусть остается жить твой боровок, Коноплев!

— Премного благодарен, ваше благородие! — радостно отвечал Коноплев и приказал Ваське благодарить.

Тот уморительно закачал головою.

VI

Рождество было отпраздновано честь честью на «Казаке».

День стоял роскошный. Томительная жара умерялась дувшим ветерком, и поставленный тент защищал моряков от палящих лучей солнца.

Приодетые, в чистых белых рубашках и штанах, побритые и подстриженные, матросы слушали обедню в походной церковке, устроенной в палубе, стоя плотной толпой сзади капитана и офицеров, бывших в полной парадной форме: в шитых мундирах и в блестящих эполетах. Хор певчих пел отлично, и батюшка по случаю того, что качка была незначительная, не спешил со службою, и матросы, внимательно слушая слова молитв и Евангелие, истово и широко крестились, серьезные и сосредоточенные.

По окончании обедни вся команда была выстроена наверху во фронт, и капитан поздравил матросов с праздником, после чего раздался веселый свист десяти дудок (боцмана и унтер-офицеров), свист, призывающий к

водке, который матросы не без остроумия называют «соловьиным». По случаю праздника разрешено было пить по две чарки вместо обычной одной.

После водки все уселись артелями на палубе у больших баков (мис) и в молчании принялись за щи со свежим мясом, уплетая его за обе щеки после надоевшей солонины. За вторым блюдом — пшенной кашей с маслом — пошли разговоры, шутки и смех. Вспоминали о России, о том, как теперь холодно в Кронштадте, весело говорили о скором конце длинного, надоевшего всем перехода, о давно желанном берегу и, между прочим, толковали о боровке, которого так ловко выучил Коноплев, что смягчил сердце мичмана, и дивились Коноплеву, сумевшему так выучить поросенка.

Но никто из матросов и не догадывался, какое доставит им сегодня же удовольствие Васька, сидевший, пока команда обедала, в новом маленьком хлевушке, устроенном Коноплевым. Ходили слухи, распущенные коком, что Коноплев готовит что-то диковинное, но сам Коноплев на вопросы скромно от-

малчивался.

Наконец боцман просвистал команде отдохнуть, и скоро по всему клиперу раздался храп спящих на палубе матросов, и только одни вахтенные бодрствовали, стоя у своих снастей и поглядывая на ласковый океан, на горизонте которого белели паруса попутных судов.

Бодрствовал и Коноплев, озабоченно и весело готовясь к чему-то и проводя послеобеденный час в таинственных занятиях с Васькой на кубрике в полном уединении. По-видимому, эти занятия шли самым удовлетворительным образом, потому что Коноплев очень часто похваливал боровка и высказывал уверенность, что «они не осрамятся».

Тем не менее надо сознаться, что когда до ушей Коноплева донесся свисток боцмана, призывавший матросов вставать, и затем раздалась команда, разрешавшая петь песни и веселиться, Коноплев испытывал волнение, подобное тому, какое испытывает репетитор, ведущий своего ученика на экзамен, или антрепренер перед дебютом подающего большие надежды артиста.

— Ну, Вась, пойдём...

Взрыв смеха, восторга и удивления раздался среди матросов, когда на баке в сопровождении Коноплева появился боровок Васька, одетый в полный матросский костюм и в матросской шапке, надетой слегка на затылок. По-видимому, Васька вполне понимал торжественность этого момента и шел мелкой трусцой с самым серьезным видом, чуть-чуть повиливая своим куцым хвостиком.

Плотная толпа сбежавшихся матросов тотчас же окружила Коноплева с его учеником и продолжала выражать шумно свое одобрение.

— Ишь ведь выдумал же что, пес тебя ешь! — сочувственно произнес боцман Якубенков, находясь как самый почетный зритель впереди.

— Ну, Вася, потешь матросиков, чтоб они не скучали... Покажи, какой ты у меня умный...

Предпослав это предисловие, Коноплев начал представление.

Действительно, боровок оказался необыкновенно умным, умеющим делать такие шту-

ки, которые в пору были, пожалуй, только собаке.

Он становился на задние лапы, танцевал, перепрыгивал через веревку, носил поноску, «умирал» и «воскресал», показывал, как ходит пьяный матрос, хрюкал по приказанию и, наконец, при восклицании Коноплева: «Боцман идет!» — со всех ног бросался к Коноплеву и прятался между его ногами.

Восторг матросов был неопиcуемый. Это представление было настоящим удовольствием для моряков, скрашивающим однообразие и скуку их тяжелой жизни.

Нечего и говорить, что все номера были повторены бесчисленное число раз, и после этого все считали долгом потрепать Ваську по спине, и все были признательны Коноплеву.

— И как ты это так обучил его, Коноплев? Ай да молодчина... Ай да дошлый...

Но сияющий от торжества своего любимца Коноплев скромно отклонял от себя похвалы и приписывал все Ваське.

— Он, братцы, башковатый. Страсть какой башковатый! Чему угодно выучится. И не надо ему грозить... Одним добрым словом все

понимает!

Когда в кают-компанию донеслась весть о диковинном представлении, Коноплева с Васькой потребовали туда.

И там представление имело такой большой успех, что по окончании все офицеры единогласно объявили, что боровка Ваську дарят команде. И когда старший офицер выразил подозрение насчет благопристойности Васьки, то Коноплев поспешно ответил:

— Обучен, ваше благородие, очень даже обучен, ваше благородие!

Таким образом, разрешилось и это сомнение, и с того дня Васька сделался общим любимцем матросов и во все время плавания доставлял им немало удовольствия.

Когда через три года «Казак» вернулся в Кронштадт, Васька, уже большой боров, по всей справедливости был отдан в собственность Коноплеву.

И судьба матроса изменилась.

Мичман Петровский, уже произведенный в лейтенанты, взял Коноплева в денщики и избавил его от постылого плавания. И Коноплев скоро перебрался с Васькой на квартиру

лейтенанта в Кронштадте и зажил вместе со своим любимцем относительно спокойно в ожидании отставки, когда можно будет уйти в свою родную деревушку.

Примечания

Бак — передняя часть судна.(Примеч. автора.)

[^^^]

2

Дерево, подвешенное за середину к мачте и служащее для перевязывания паруса.(Примеч. автора.)

[^^^]

3

Взять рифы у паруса — значит уменьшить площадь паруса.(Примеч. автора.)

[^^^]

4

Паруса, которые ставят во время шторма.
(Примеч. автора.)

[^^^]